

*Tous droits réservés.*

*Copyright by Ivan Bunin 1937.*

## **Из книги "Освобождение Толстого"**

Для большинства так называемого цивилизованного мира Толстой как философ, как моралист, как вѣроучитель все еще остается прежде всего бунтарем, анархистом, порождением пресловутой «славянской души». Для этого большинства философія его туманна и невразумительна, моральная проповѣдь или возбуждает улыбку («прекрасныя, но совершенно нежизненные бредни») или возмущеніе («бунтарь, для котораго нѣтъ ничего святого»), а вѣроученіе, столь же невразумительное, как и философія, есть смѣсь кощунства и атеизма. В общем, все еще продолжается, хотя и в нѣкоторой иной формѣ, то отношеніе к нему, которое было когда-то в Россіи. Только одна «лѣвая» часть этого большинства прославляет его — как защитника народа и обличителя богатых и властвующих, как просвѣщеннаго гуманиста, революціонера, — отсюда и утверждается за ним титулы «міровой совѣсти», «апостола правды и любви». И как могло быть иначе? Он почти всю жизнь укорял, обличал, звал к правдѣ и к любви; его «великая и высокая общественная дѣятельность равна величію его художественныхъ созданий»...

Крайній примѣръ наиболѣе тупого и корыстнаго толкованія его ученія и даже вообще смысла всѣх его писаній дали русскіе марксисты-коммунисты. Еще много лѣтъ тому назад, еще до воцаренія коммунистов в Россіи.

читал в Парижѣ извѣстный марксист Дейч лекцію «О Толстом с точки зрѣнія научнаго социализма». Лекція сопровождалась выступленіями других ораторов, в том числѣ и «самого» Плеханова. Плеханов был всетаки не чета Дейчу, но и он вполне серьезно слушал его лекцію, не во всем согласился с ним, однако в концѣ концов привѣтствовал его: «Во всяком случаѣ, сказал он, это первая попытка подобрать ключ к творчеству Толстого». М. А. Алданов, свѣдѣніями котораго я тут пользуюсь, замѣчает, говоря об этом «ключѣ» в своей статьѣ, напечатанной в столѣтнюю годовщину рожденія Толстого, что с таким же правом можно было бы подыскивать ключ к творчеству Бетховена в связи с теоріей о происхожденіи видов Дарвина. Позволительно было надѣяться, говорит Алданов, что «первая попытка» подобрать такой ключ к Толстому останется послѣдней; но надежда эта не оправдалась: в коммунистической Россіи вышло уже свыше 80 работ о Толстом — всѣ «с точки зрѣнія научнаго социализма». Точка эта очень проста: «Толстой поражает своим социальным убожеством, идеологической ложью, но цѣнен тѣм, что в дни мрачной царской реакціи возвысил свой голос против паразитствующих и насильничающих», — о том, что Толстой возвысил-бы свой голос и в дни коммунистической «реакціи» не говорится, конечно; «Толстой дѣлал подрыв буржуазіи и дворянско-помѣщичьему самодержавію... Читать о Толстом нужно теперь у Ленина, у Луначарскаго... Только октябрьская революція дала возможность массам узнать Толстого цѣликом, — до нея этому мѣшала царская цензура, а в совѣтской Россіи осуществлена наконец свобода слова и вдобавок все пропущено сквозь призму марксистскаго анализа». У Ленина, в его статьѣ, написанной по поводу восьмидесятилѣтія Толстого, можно прочесть слѣдующее: «Противорѣчія в произведеніях, взглядах, ученіях в школѣ Толстого — кричащія. С одной стороны — гениальный художник, давшій не только несравненную картину

русской жизни, но и первоклассныя произведенія міровой литературы. С другой стороны — помѣщик, юродствующій во Христѣ. С одной стороны — замѣчательно сильный, непосредственный и искренній протест против общественной лжи и фальши, с другой стороны — «толстовец», то есть истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бѣя себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкій, но я занимаюсь нравственным усовершенствованіем, я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». С одной стороны — беспощадная критика капиталистической эксплуатаціи, разоблаченіе правительственных насилій, комедія суда и государственнаго управленія, вскрытіе всей глубины противорѣчій между ростом богатства и завоеваніями цивилизаціи и ростом нищеты, одичалости и мученій рабочих масс; с другой стороны — юродивая проповѣдь «непротивленію злу насиліем». С одной стороны — самый трезвый реализм, срываніе всѣх и всяческих масок; с другой стороны — *проповѣдь одной из самых гнусных вещей, какія только есть на свѣтѣ, именно — религіи*, стремленіе поставить на мѣсто попов на казенныя должности попов по нравственному убѣжденію, то есть культивированіе самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины». Горькій тоже «пропускает» Толстого «сквозь призму марксистскаго анализа». Горькій, тоже имѣвшій удивительную способность дѣлать рѣшительно все, о чем-бы он ни заговорил, попылым и плоским, хотя и не таким скотским, как Ленин, говорит в своих воспоминаніях о Толстом (лживых чуть не на каждом шагу), будто Толстой сдѣлал ему однажды такое заявленіе: «Наука есть золотой слиток в руках шарлатана-химика; вы хотите ее упростить, сдѣлать ее доступной для всѣх; оказывается, что вы начеканили кучу фальшивой монеты, и народ не поблагодарит вас, когда узнает дѣйствительную цѣну этой монеты». Тут нѣтъ, конечно, ни единого толстовскаго слова, — все выду-

манное и все совершенно противоположное духу и манерѣ Толстого. Но не в том дѣло. Говоря по существу, такли уж отличаются всѣ эти Дейчи, Ленины и Горькіе от всяких прочих толкователей Толстого? Прочіе говорят в том-же родѣ. Этот моралист и социальный реформатор был опаснѣйшій революціонер, выразитель наиболѣе бунтарских свойств русской души, — так, возмущаясь, говорят толкователи «правые». «Лѣвые» же восхищаются: «Не было, кажется, ни одного рокового вопроса в сферѣ эконолической, государственной, международной, котораго не коснулся бы он». Один его біограф (Бирюков) тоже ставит чуть не во главу угла всѣх толстовских терзаній такое положеніе: «Над народом паходитея так называемый высшій, правящій класс, — преступный, по мнѣнію Толстого, — к которому принадлежал и он сам, носившій в себѣ наслѣдіе многих поколѣній». Другой (Полнер) — «несправедливость существующих земельных отношеній».

«Политика, говорил Гете, никогда не может быть дѣлом поэзіи». Могли быть «политиком» великій поэт Толстой, душа, с дѣтства жившая страстными стремленіями к «важнѣйшему» («ничего нѣтъ в жизни вѣрнаго, кромѣ ничтожества всего понятнаго мнѣ, и величія чего-то непонятнаго и важнѣйшаго»), чувством тщеты и брешности всѣх земных дѣл и величій! «Он обличал все и вся». Но и Христос обличал. Только Он-же и говорил: «Царство Мос не от міра сего». И Будда обличал: «Горе вам, князья властвующіе, царствующіе, богатые, пресыщенные!». Но что такое было для Будды исправленіе людских сердец и людских нравов? Только часть «святого восьмиричнаго пути, ведущаго к спасенію» и состоящаго из «праведной вѣры, праведнаго рѣшенія, праведнаго слова, праведнаго дѣла, праведной жизни, праведных стремленій, праведных воспоминаній, праведнаго самоуглубленія».

Революціонеры, общественные обличители и про-

тестанты пользовались и пользуются Толстым для своих цѣлей. Но они пользовались и пользуются Христом, могут пользоваться и Буддой.

«Праведное дѣло, праведная жизнь» — для какой цѣли нужно то и другое?

Софья Андреевна говорила:

— Такія умственные силы пропадают в колоньѣ дров, в ставленіи самоваров и шитьѣ сапог!

— Если счастливый человек вдруг увидит в жизни, как Левочка только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья.

И прибавляла, обращаясь к самому «Левочкѣ»:

— Тебѣ полечиться надо.

Не пропадать этим «умственным силам» в шитьѣ сапог и тому подобном никак нельзя было. По развѣ в силу только того, что нужны «общественныя» улучшения жизни, устраненія «классовых неравенств»?

Он, «счастливый», увидѣл в жизни только одно ужасное. В какой жизни? В русской, в общеевропейской, в своей собственной семейной? Но все эти жизни только капши в морѣ. И эти жизни ужасны, и в них невыносимо существовать, но ужаснѣе всего главное: невыносима всякая человѣческая жизнь — «пока не найден смысл ея, спасеніе от смерти». Никуда не уйдешь от ея тяжести, покуда не уйдешь не из Ясной Поляны только, не из Россіи, не из Европы, а вообще из жизни земной, человѣческой! «Это от нездоровья, тебѣ полечиться надо». Но что ж говорить о «здоровьѣ» Будды, Толстого!

«Міровая совѣсть, совѣсть цивилизованнаго міра»... Но что общаго было у Толстого с «цивилизованным міром», который он считал вполне варварским? Были только нѣкоторыя совпаденія в том, что говорил мір и что он. — совпаденія или видимость совпаденій.

Он говорил:

— Мы (христиане) часто обманываемся тѣм. что, встрѣчаясь с революціонерами, думаем, что мы стоим

близко рядом. Кажется, все одно и то же. Но не только есть большая разница, но нѣтъ болѣе далеких от нас людей, чѣм революціонеры.

Он спрашивал:

— Машины, чтобы дѣлать что? Телеграфы, чтобы передавать что? Школы, университеты, академіи, чтобы обучать чему? Собранія, чтобы обсуждать что? Книги, газеты, чтобы распространять свѣдѣнія о чем? Желѣзные дороги, чтобы ѣздить кому и куда? Собранные вмѣстѣ и подчиненные одной власти миллионы людей — чтобы дѣлать что?

В біографіи Полнера эта знаменитая цитата сопровождается наивным разъясненіем: «В условіях социальнаго неравенства Толстой не мог найти удовлетворительных отвѣтов на эти вопросы». Ну, а если бы не социальное неравенство? Полнер, видимо, не обращает никакого вниманія на послѣдній из толстовских вопросов:

— Больницы, врачи, аптеки для того, чтобы продолжать жизнь, а *продолжить жизнь зачѣм?*

Странно разъяснять все это, столь, казалось бы, понятное. Но разъяснять еще необходимо. Вспоминаю рѣчь одного из блестящих русских людей, знаменитаго адвоката и либеральнаго политическаго дѣятеля Маклакова, много лѣтъ бывшаго в домѣ Толстых одним из самых близких людей, — рѣчь, произнесенную им в Прагѣ на празднованіи столѣтія рожденія Толстого. Маклаков тоже разъяснял, он говорил:

— Очень достойно вниманія то, что в эти юбилейные дни міръ поминает Толстого только как художника и как политика, — что религіозная и философская мысль хранят о нем молчаніе. Как художник Толстой, конечно, вѣдь сомнѣній. А что еще вѣдь сомнѣній? Его политическая дѣятельность. И вот политики, одни с огорченіем, другіе с похвалою, отмѣчают борьбу Толстого с правительством, с насиліями всякаго рода, с привилегіями, с богатыми, сильными. Для одних это ужасно; для других же это

большая заслуга его; для них у Толстого нелѣпо одно — его проповѣдь о непротивленіи злу, это нѣкоторое недомысліе его, происходившее, по их мнѣнію, от его незнакомства с ученіем Маркса, от незнанія даже начальных учебников государственнаго права. Правда-ли, однако, что Толстой был политик, хотя и писал, на примѣр, «Стыдно», «Не могу молчать», затрагивал политическія темы даже в «Воскресеніи», хлопотал перед властями и Государственной Думой о проведеніи в жизнь законодательным порядком идей Генри Джорджа? Нѣтъ, все-таки не был, политическую дѣятельность все-таки считал злом; в своей книгѣ «Христіанское ученіе», задавая себѣ вопрос, почему мір не пошел за Христом, он находит отвѣтъ на него в том, что в мірѣ существуют «соблазны», тѣ гибельныя подобія добра, в которыя, как в ловушку, заманиваются люди, на примѣр, политическими статутами, — это даже самый опасный соблазн, говорит он, когда государство оправдывает совершаемые им грѣхи тѣм, что оно будто бы несет благо большинству людей, народу, человѣчеству. Да, Толстой не мало говорил о недостатках человѣческаго общежитія так же, как говорим и мы, люди міра, политики; но мы имѣем только виѣшнее право зачислять его в свои ряды, для него эти недостатки не стояли на первом планѣ, он думал о том, о чем мы, люди бессознательнаго жизненнаго инстинкта, слишком мало думаем в нашей жизненной суетѣ, — о смыслѣ жизни, кончающейся смертью. Он сам рассказал в своей «Исповѣди», что привело его к «перелому»: мысль о смерти; ему стало казаться, что если все то, ради чего мы живем, — всѣ мірскія блага, всѣ наслажденія жизнью, богатством, славой, почестями, властью, — если все это будет у нас отнято смертью, то в этих благах нѣтъ ни малѣйшаго смысла. Если жизнь не безконечна, то она просто бессмысленна; а если она бессмысленна, то жить вовсе не стоит, слѣдует как можно скорѣе избавиться от нея самоубійством. Вот то неожиданное и безотрадное

заключеніе, к которому привела Толстого мысль о смерти...

Почему Маклаков употребил слово «неожиданное», совершенно непонятно. Но кончает он правильно: «Эта проблема о смыслѣ жизни не связана ни с опредѣленной эпохой, ни с народностью, ни с формами государственности... Толстого нужно сравнивать не с нами, не с политиками, не с тѣми, кто хлопочет об увеличеніи благ и о справедливом распредѣленіи их в обществѣ, а с учителями религіи... Толстой — сын позитивнаго вѣка и сам позитивист; но по запросам своего духа он был религіозная натура по преимуществу...» Это все, разумѣется, правильно (за исключеніем еще болѣе непонятнаго наименованія Толстого позитивистом) и правильности своих разъясненій Маклаков мог бы провести множество и других доказательств. Побывав в первый раз в Англии, говорит Маклаков, я стал восхвалять перед Толстым англійскіе порядки. Толстой возражал, доказывал, что англійская конституція не лучше русскаго самодержавія. Рѣзкость его сужденій меня огорчала, но я нашелся: это было время его хлопот о духоборах, и я сказал ему: «Если в Англии жизнь не лучше, чѣм в Россіи, зачѣм же вы переселяете духоборов в Канаду?» Он сначала запнулся, потом отвѣтил: «Конечно, вы правы, разница есть. Но знаете ли: есть разница и между гильотиной и сажаніем на кол и даже нашей висѣлицей. Если бы вы посвятили себя введенію в Россіи гильотины вмѣсто веревки, это был бы прогресс. Но меня этой дѣятельностью вы не увлечете; для меня и гильотина и веревка одинаково мерзки».

Толстой то и дѣло говорил в этом родѣ:

— Люди, ненавидящіе существующій строй и правительство, представляют себѣ какой-то другой порядок вещей и даже никакого себѣ не представляют и всѣми безбожными, безчеловѣчными средствами—пожарами, грабежами, убійствами — разрушают этот строй... Но дѣло

не в перемены правительств. Развѣ жизнь станет лучше, если вмѣсто Николая II будет царствовать Петрункевич?

По словам Александры Львовны, он ждал, что послѣ японской войны в Россіи будет революція: настроеніе рабочих, солдат, крестьян он чувствовал не только из разговоров с ними, но и по безкончным письмам, стекавшимся к нему со всѣх концов Россіи. Но для него было совершенно ясно, что революція не улучшит положенія народа; каждая власть основана на насиліи и каждая власть поэтому дурна, постоянно утверждал он: «Новое правительство будет так же основано на насиліи, как и старое. Как Кромвель, как Марат давили своих противников, так и у нас новое правительство давило бы консерваторов...»

В статьѣ «Правительству, революціонерам и народу» он писал:

— Для того, чтобы положеніе людей стало лучше, надо, чтобы сами люди стали лучше. Это такой же тунизм, как то, что для того, чтобы нагрѣлся сосуд воды, надо, чтобы всѣ капли ея нагрѣлись. Для того же, чтобы люди становились лучше, надо, чтобы они все больше и больше обращали вниманіе на себя, на свою внутреннюю жизнь. Виѣшняя же, общественная дѣятельность, в особенности общественная борьба, всегда отвлекает вниманіе людей от внутренней жизни и потому всегда, неизбѣжно развращая людей, понижает уровень общественной нравственности. Пониженіе же уровня общественной нравственности дѣлает то, что самыя безнравственныя части общества все больше и больше выступают наверх и устанавливается безнравственное общественное мнѣніе, разрѣшающее и даже одобряющее преступленія. И устанавливается порочный круг: вызванныя общественной борьбой худшія части общества с жаром отдаются соотвѣтствующей их низкому нравственному уровню общественной дѣятельности, дѣятельность же эта привлекает к себѣ еще худшіе элементы общества...

Маклаков разъяснял в своей рѣчи и другое — «самое важное в міросозерцаніи Толстого», его религіозныя воззрѣнія. Я не случайно остановился на этой рѣчи. Тысячи толкователей разъясняли Толстого, тысячи суждений высказывалось о нем, но сужденія таких людей, как Маклаков, не могут не обращать на себя особеннаго вниманія уже хотя бы потому рѣдкому во всѣх отношеніях знанію Толстого, которым обладает Маклаков. Что же говорит он о Толстом, как о вѣроучителѣ?

Толстой, говорит он, утверждал не только печатно, но и во многих бесѣдах со мной, что он своего собственнаго христіанскаго ученія не создавал, что он только возстапвил подлиннаго Христа, затемненнаго ученіем міра и Церкви. Преклоняясь перед Христом, Толстой в нем Бога не видѣлъ; мало этого: я не раз от него слышал, что, если бы он считал Христа Богом, Христос потерял-бы для него все свое обаяніе. Обычное воззрѣніе невѣрующих. Толстой был человѣком современным, позитивистом. Он был слишком умен, чтобы не понимать, что разум наш ограничен; но, признавая ограниченность разума, он не допускалъ и того, чтобы разум мог узнать абсолютную истину в порядкѣ вѣры и откровенія. Он любил употреблять слова — религія, Бог, безсмертіе... Но Бог был для него — непонятная, начальная сила; безсмертіе духа — простое признаніе факта, что наша духовная жизнь откуда-то появилась и, слѣдовательно, куда-то уйдет; а вѣра, по словам Ивана Кирѣевскаго, которыя он любил повторять, есть не столько знаніе истины, сколько преданность ей. Все это очень далеко от ученія Церкви, и потому Толстой по своему міровоззрѣнію истинный позитивист, сын нашего вѣка.

Однако, продолжает Маклаков, вот что замѣчательно, — оригинально, своеобразно в исторіи мысли: Толстой не говорил, подобно позитивистам, что проповѣдь Христа противорѣчит природѣ людей, что в Его ученіи надо видѣть только идеал, недостижимый на землѣ, —

он думал, что это учение и должно и можно исполнять: при мірском міровоззрѣніи он учил жить по Божьи.

Зачѣм жить по Божьи? Затѣм, что иначе жизнь, кончающаяся смертью, есть бессмыслица.

Христос сказал в притчѣ о богатѣ: он собрал богатства в житницы свои и хотѣл ими наслаждаться с друзьями своими; безумен, развѣ он стал бы это дѣлать, если бы знал, что Господь призовет его к себѣ в эту ночь? Люди, не думающіе о смерти, ведут себя как этот безумен, говорил Толстой; при наличіи смерти нужно либо добровольно покинуть жизнь, либо перемѣнить ее, найти в ней тот смысл, который не уничтожался бы смертью. Нелѣпость его проповѣди о непротивленіи злу доказывали еще и тѣм, что при этом непротивленіи и наша жизнь, и культура, и государство погибнут, станут жертвою насильников; а для него нелѣпо было это доказательство: к чему же наша жизнь и всѣ блага ея, если и то и другое поглотит смерть? Страх смерти тѣм рѣзче, чѣм больше благ теряешь, умирая. Что-же нужно? Нужна такая жизнь, которой смерть не страшна. Какая же это жизнь? В извѣстный срок Толстой *понял, что позитивизм на это не может отвѣтить*: отвѣчает только религія — религія христіанская, религія «бѣдных, смиренных, немудрствующих». И это привело его к враждѣ, к борьбѣ с Церковью. *Уже одному позитивизму его противорѣчила церковно-религіозная мистика*; и все таки не это оттолкнуло его от Церкви: оттолкнуло ея отношеніе к земной жизни, то, что она не отвергла, как отвергал Христос, мірскую жажду земных благ, не сказала, как Он: раздай имущество, не противься злу насиліем, подставь лѣвую щеку ударившему тебя в правую, не суди, не казни... Церковь приняла, подтвердила и даже освятила всѣ мірскія понятія и учрежденія со всѣми их грѣхами и преступленіями, стала учить повиноваться этим учрежденіям и, мало того, показала в лицѣ своих представителей, что и сама цѣнит всѣ мірскія блага. *Зачѣм*

*жить, если мы смертны? Мистика Церкви отвечает: нѣтъ, мы безсмертны, за гробом мы обрѣтем небесную, вѣчную жизнь и возмездіе или награду за земную, временную. И эта мистика помирила человѣка с безсмысленностью и безуміем его мірской жизни. Да, будут за грѣхи возмездія, говорит Церковь; по все таки она допустила привычную дурную жизнь человѣка на землѣ, ученіем о загробной жизни утвердила в людях вкус к земным благам, радостям, грѣхам, соблазнам; главное то, что она признала право человѣка сослаться на свои человѣческія слабости. Церковь забыла Христа, сказал Толстой — и стал проповѣдывать Христіанство без Бога. Еще в молодости говорил он: человѣкъ долженъ сознать в себѣ свою личность не какъ нѣчто противоположное міру, а какъ малую частицу міра, огромнаго и вѣчно живущаго. Это-то и говорит Христос: «Люби ближняго, какъ самого себя». И счастье личности — не обманное — можетъ быть лишь одно: жить для другихъ. Жертвуя собой для другихъ, человѣкъ становится сильнѣе смерти. Таково логическое основаніе, которое Толстой подвелъ подъ свое ученіе. И вотъ почему заповѣди Христа открыли ему смыслъ земной жизни и уничтожили его прежній страхъ передъ смертью. О, конечно, противъ такого ученія многое можетъ возразить и позитивизм и Церковь. Позитивизм скажетъ: зачѣмъ нуженъ какой-то смыслъ жизни, когда есть инстинктъ жизни и всѣ ея радости? мирись съ участью всего міра. А Церковь скажетъ такъ: объявить Христа человѣкомъ, отрицать Его воскресеніе, не значитъ-ли свести христіанство къ нежизненной, недоступной человѣческимъ силамъ и неинтересной морали? Развѣ разсудочная теорія объ общей міровой жизни, которая будто бы уничтожаетъ страхъ смерти, можетъ замѣнить вѣру въ Любовь и милосердіе Божіе, въ заботы Промысла о человѣкѣ и въ радость конечнаго соединенія съ Богомъ за гробомъ? Но Толстой пошелъ противъ Церкви и противъ міра — и возстановилъ противъ себя и Церковь и мір...*

Так разъясняет Толстого Маклаков. И так удивительно чередуются даже и у него сужденія совершенно правильныя, точныя, послѣдовательныя, с сужденіями совершенно иного рода, порой просто непонятными.

— «Толстой — сын позитивнаго вѣка и сам позитивист...»

— «Уже одному позитивизму Толстого противорѣчила церковно-религіозная мистика...»

Почему-же в таком случаѣ «в извѣстный срок Толстой понял, что позитивизм на это не может отвѣтить, а отвѣчает только религія»? Вообще весьма странно называть «сыном позитивнаго вѣка» того, кто то и дѣло говорил и писал: «Нѣтъ болѣе распространенаго суевѣрія, что человекъ с его тѣломъ есть нѣчто реальное... Вещество и пространство, время и движеніе отдѣляютъ меня и всякое живое существо от Бога... Все меньше понимаю міръ вещественный и, напротив, все больше и больше сознаю то, чего нельзя понимать, а можно только сознать... Матерія для меня самое непонятное... Что я такое? Разум ничего не говоритъ на эти вопросы сердца... С тѣхъ пор, какъ существуютъ люди, они отвѣчаютъ на это не словами, то есть орудіемъ разума, а всей жизнью... Чтобы жизнь имѣла смысл, надо чтобы цѣль ея выходила за предѣлы постижимаго умомъ человѣческимъ...»

Маклаковъ говорит, что мистика Церкви утверждает, что мы безсмертны. Но вѣдь и Толстой утверждал то же самое: «Жизнь есть смерть... Пора проснуться, то есть умереть... Думал, какъ думаю безпрестанно, о смерти. И такъ мнѣ ясно стало, что такъ же хорошо, хотя по другому, будетъ на той сторонѣ смерти... Мнѣ ясно было, что тамъ будетъ такъ же хорошо, — нѣтъ, лучше. Я постарался вызвать в себѣ сомнѣнія в той жизни, какъ бывало прежде, и не мог, какъ прежде, но могъ вызвать в себѣ увѣренность...»

Маклаковъ говорит: «Толстой в Христѣ Бога не видѣлъ. Обычное возрѣніе невѣрующихъ». Но вѣдь есть миллионы не-христіан, миллионы непризнающихъ Христа Богомъ и,

однако, вѣрующих, — миллионы буддистов, магометан...

Как и что говорил он о смерти, как чувствовал и понимал ее по мѣрѣ теченія жизни?

Ему шел всего двадцать третій год, когда он начал писать «Дѣтство». Тут он впервые написал смерть, свое ощущеніе ея, то, что он испытал когда-то при видѣ мертвеца. (Кстати: когда «когда-то»? Я говорю о той главѣ в «Дѣтствѣ», которая называется «Горе»: это смерть матери Николенки, то есть самого Левочки Толстого. Но мать Левочки умерла, когда ему было всего два года. Почему-же уже в первом его произведеніи появляется тема смерти?)

— На другой день, поздно вечером, мнѣ захотѣлось еще раз взглянуть на нее (на мать в гробу). Преодоливъ невольное чувство страха, я тихо отворил дверь и на цыпочках вошел в залу.

— Посрединѣ комнаты на столѣ стоял гроб, вокруг него нагорѣвшія свѣчи в высоких серебряных подсвѣчниках; в дальнем углу сидѣл дьячок и тихим, однообразным голосом читал псалтырь.

— Я остановился у двери и стал смотрѣть, но глаза мои были так заплаканы и нервы так разстроены, что я ничего не мог разобрать; все как-то странно сливалось вмѣстѣ: свѣтъ, парча, бархат, большіе подсвѣчники, розовая обшитая кружевами подушка, вѣнчик, чепчик с лентами и еще *что-то прозрачное воскового цвѣта\**). Я стал на стул, чтобы разсмотрѣть ея лицо; но в том мѣстѣ, гдѣ оно находилось, мнѣ опять представился тот же *блѣдно-желтоватый, прозрачный предмет*. Я не мог вѣрить, чтоб это было ея лицо. Я стал вглядываться в него пристальнѣе и мало по малу стал узнавать в нем знакомыя милыя черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убѣдился, что это была она; отчего закрытые глаза так

---

\*) Курсив взят мой. И. Б.

впали? отчего эта страшная блѣдность и на одной щекѣ черноватое пятно под прозрачною кожей? отчего губы так блѣдны и склад их так прекрасен, так величественен и выражает такое неземное спокойствіе, что холодная дрожь пробѣгает по моей спинѣ и волосам, когда я вглядываюсь в него?

— Я смотрѣлъ и чувствовал, что *какая-то непомятная, непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу*. Я не спускалъ с него глаз, а воображеніе рисовало мнѣ картины, цвѣтуція жизнью и счастьем. Я забывал, что мертвое тѣло, которое лежало передо мной и на которое я бессмысленно смотрѣлъ, как на предмет, не имѣющій ничего общаго с моими воспоминаніями, была она. Я воображал ее то в том, то в другом положеніи: живою, веселою, улыбающеюся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в блѣдном лицѣ, на котором остановились мои глаза: я вспоминалъ ужасную дѣйствительность, содрагался, но не переставал смотрѣть. И снова мечты замѣняли дѣйствительность, и снова сознаніе дѣйствительности разрушало мечты. Наконец, воображеніе устало, оно перестало обманывать меня; сознаніе дѣйствительности тоже исчезло, и я совершенно забылся... *На время я потерялъ сознаніе своего существованія и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-пріятное и грустное наслажденіе...*

Глава эта есть нѣчто совершенно удивительное по изображенію и вѣшняго и внутренняго. Сила изобразительности вѣшняго как будто преобладает. «Свѣтъ, парча, бархат... розовая обшитая кружевами подушка, вѣнчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное воскового цвѣта...» Но из этого вѣшняго исходит истинный ужас внутренняго: чего стоит одно это «что-то»!

— Одна из послѣдних подошла проститься с покойницей *какая-то крестьянка, с хорошенькою пятилѣтнею дѣвочкой на руках, которую, Бог знает зачѣм, она при-*

несла сюда. В это время я печаянно уронил свой мокрый платок и хотѣл поднять его; но только что я нагнулся, меня поразил страшный, пронзительный крикъ, исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лѣтъ, я никогда его не забуду. Я поднял голову — подлѣ гроба стояла та же крестьянка и с трудом удерживала на руках дѣвочку, которая, отмахиваясь рученками, откинув назад испуганное личико и уставив выгученные глаза на лицо покойной, кричала страшным, неистовым голосом...

Николаежка-Лесовка, глядя на это «что-то» прозрачное воскового цвѣта, блѣдно-желтоватый прозрачный предмет, в концѣ концов «потерял сознание своего существованія и испытывал какое-то высокое, не изъяснимо-приятное и грустное наслаждение». Это подлинные задатки разновидности тѣх чувств, которые впоследствии все больше и больше будут преобразжать толстовское восприятие смерти, вести к чему-то «высокому». Но пока это только задатки. Преобладает же непосредственный ужас. «Холодная дрожь пробѣгает по моей спинѣ и волосам, когда я вглядываюсь в него». А крестьянскій ребенок даже и при одном мгновенном взглядѣ на это «что-то» разражается «страшным, пронзительным криком».

За этими первыми страницами о смерти слѣдует рассказ «Три смерти», написанный через семь лѣтъ послѣ того. Тут, мучительно, отчаянно хватаясь за жизнь, то раздраженно негодуя на все и на всѣх, то жалко умиляясь тщетными надеждами, умирает богатая молодая барыня в чахоткѣ, умирает тупо и покорно, как обезсилѣвшій звѣрь, пиццй работник (ямщик) и в святой и прекрасной безсознательности умирает дерево. Барыня одна виновна перед лицом Бога — в своей непокорности Его неисповѣдимым для нас путям, Его высокой и торжественной волѣ, в своем дѣтском и строптивом непониманіи Его законов и замыслов: «Пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших.» И вот тут уже

возвышенно, укоризненно-грозно звучат толстовскія слова о смерти:

— В тот же вечер больная уже была тѣло, и тѣло в гробу стояло в залѣ большого дома... Яркій восковой свѣтъ с высоких серебряных подсвѣчников падал на блѣдный лоб усопшей, на тяжелыя восковыя руки и окаменѣлыя складки покрова, странно поднимающагося на колѣнях и пальцах ног...

— Сокроешь лицо Твое — смущаются, — гласил псалтырь, — возьми от них дух — умирают и в прах свой возвращаются. Пошлишь дух Твой — создаются и обновляютъ лицо земли. Да будетъ Господу слава во вѣки.

— Лицо усопшей было строго и величаво. Ни в чистом холодном лбѣ, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была вниманіе. Но понимала ли она хоть теперь великія слова эти?

Все же в ту пору он и сам еще «не понимал». Через год послѣ написанія им «Трех смертей», — в 1860 году, — умирает от чахотки его брат Николай — и на весь мір падает для него цепел смерти: «К чему все, пишет он, к чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всей мерзостью лжи. самообмана и кончатся ничтожеством. нулем!»

Еще через год он начал «Холстомѣра», «исторію лошади», которую можно было бы озаглавить и так: «Двѣ жизни и двѣ смерти», — жизнь пѣгаго, рысистаго мерина, по родословному имени Мужика I, прозваннаго по-уличному Холстомѣром «за длинный и размашистый ход, равному которому не было в Россіи», и жизнь одного из его хозяев, большого барина, гусара князя Серпуховскаго. Если уж говорить о безопасности Толстого в писаніи земных «исторій», то, несомнѣнно, он тут безпощаднѣе всего. Мерин, бывшая знаменитость, доживает свой вѣкъ в табунѣ на барском дворѣ в ничтожествѣ и одиночествѣ. «Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и ве-

личественная вмѣстѣ. Старость пѣгаго мерина была именно такого рода... Было что-то величественное в фигурѣ этой лошади и было что-то страшное — в соединеніи с этой величественностью отгаликивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приѣмов и выраженія самоувѣренности и спокойствія, сознательной красоты и силы.» Это была «живая развалина», которую молодья лошади мучили всякими своими злыми забавами и шутками: «Он был стар, онѣ были молоды; он был худ, онѣ были сыты; он был скучен, онѣ были веселы. Стало быть, он был совсѣм чужой, посторонній, совсѣм другое существо, и нельзя было жалѣть его. Лошади жалѣют только самих себя, и изрѣдка только тех, в шкуру кого онѣ себя легко могут представить...

И вот он все-таки рассказывает по ночам этим молодым лошадям исторію своей прежней жизни, своей долгой службы людям, — которые говорили про него «моя лошадь», что сначала казалось ему также странно, как слова: «моя земля, мой воздух, моя вода», — службы, кончившейся тѣм, что гусар загнал его. Он «ничего и никого никогда не любил», но в нем мерину «нравилось именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил». Мерин говорит про него: «Его холодность, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загни меня, думал я, бывало, в наши счастливыя времена, — я тѣм буду счастливѣе.» И гусар загнал его. «Любовница у него была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец.» И когда любовница сбѣжала от него, он в погонѣ за ней загнал мерина. Но своей жизнью загнал он и себя. Когда, лѣтъ через пятнадцать, пріѣхал он однажды в гости как раз к тому барину, который был послѣдним хозяином Холстомѣра, уже был он тоже развалиной:

— Пріѣзжій, Никита Серпуховской, был человекъ лѣтъ за сорок, высокій, толстый, плѣшивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив-

Теперь он опустился, видимо, физически и морально и денежно...

— Он был одѣтъ в военный китель и синія штаны. Китель и штаны были такіе, каких бы никто себѣ не сдѣлал, кромѣ богача; бѣлье тоже; часы тоже были англійскіе. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.

— Никита Серпуховской промотал в жизни состояніе в два милліона и остался еще должен 120 тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающій кредит и возможность почти роскошно прожить еще лѣтъ десять.

— Лѣтъ десять уже проходили, и размах кончался, и Никитѣ становилось грустно жить...

А хозяин был молод, крѣпок, богат, «один из тѣх, которые никогда не переводятся. Ѣздит в собольих шубах, бросают дорогіе букеты актрисам, пьют вино самое дорогое с самой новой маркой, в самой дорогой гостиницѣ, содержат самую дорогую любовницу...» Хозяин хвастался Серпуховскому своим счастьем, богатством, навязывал ему взять в запас побольше дорогих сигар, ставя его тѣм в неловкое и оскорбительное положеніе; они говорили весь вечер, как будто равные, про лошадей, про женщин, — «у кого какая: цыганка, танцовщица, французенка», но им было скучно слушать друг друга, — каждый хотѣлъ говорить только про себя. Поздно ночью они наконец разошлись.

Хозяин лежал с любовницей. — Нѣтъ он не возможен. Налился и врѣт, не переставая...

— И за мной ухаживает.

— Я боюсь — будет просить денег.

Серпуховской лежал нераздѣтый на постели и отдувался.

— Кажется, я много врѣл, — подумал он. — Ну, все равно! Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое

что-то. И я свинья большая. — сказал он сам себѣ и захохотал...

— Он сѣлъ, снял китель, жилет и штаны стоял с себя кое-как; но сапог долго не мог стащить, — брюхо мягкое мѣшало. Кое-как стащил один, другой, бился, бился, запыхался и устал. И так, с погой в голенищѣ, повалился и захрапѣлъ, наполняя всю комнату запахом табаку, вша и грязной старости...

Старого Холстомѣра, опаршивѣшаго от коросты, зарѣзали за усадьбой, в лоцинкѣ за кирпичным сараем, и драч снял с него его старую шкуру.

— Табун проходил вечером горой, и тѣм, которые шли с лѣваго края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали вороны и коршуны...

И ритмически, торжественно кончается эта страшная «исторія лошади»:

— На зарѣ, в оврагѣ стараго дѣса, в заросшем низу на полянкѣ, радостно были головастые волчята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленькій с головой больше туловища. Худая лиявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по землѣ, вышла из кустов и сѣла против волчат. Волчята полукругом стали против нея. Она подошла к самому маленькому и, опустив колѣно и перегнув морду книзу, сдѣлала нѣсколько судорожных движеній и, открыв зубастый зѣвъ, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волчята побольше сунулись к пей, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому. Маленькій, как бы гнѣваясь, рыча, ухватил конину под себя и стал ждаты. Так же выхаркнула волчица и другому, и третьему, и всеѣм пятерым и тогда легла против них, отдыхая.

— Через недѣлю валялись у кирпичнаго сарая только большой череп и два маслака; остальное все было рас-

таскано. На лёто мужик, собиравшій кости, унес и эти маслаки и череп и пустил их в дѣло.

— Ходившее по свѣту, ѣвшее и жившее мертвое тѣло Серпуховского убрали в землю гораздо послѣ. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились.

— А как уже 20 лѣт всѣм в великую тягость было его ходившее по свѣту мертвое тѣло, так и уборка этого тѣла в землю была только лишним затрудненіем для людей. Никому уж он давно был не нужен, всѣм уж давно он был в тягость, но все-таки *мертвые, хоронящіе мертвых*, нашли нужным одѣть это тотчас же загнившее пухлое тѣло в хорошей мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороній гроб с новыми кисточками на 4-х углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый и свезти его в Москву и там раскопать давнишнія людскія кости и именно туда спрятать это гниющее, кишачее червями тѣло в новом мундирѣ и вычищенных сапогах и засыпать все землей...

Эта «исторія лошади» есть, так сказать, исторіи смерти мертвых.

Алданов в своей книгѣ «Загадка Толстого» перечисляет количество смертей в его произведеніях и недоумѣнно спрашивает: зачѣм собрал Толстой за свою долгую художественную жизнь такой огромный художественный матеріал на тему смерти? «Если мыслимо создать философію смерти, ее должен был создать Толстой. Но он не воспользовался для этических обобщеній богатствами своей сокровищницы. Толстой не обмолвился ни словом о разорванном бомбой Курагинѣ, ни о зарѣзанной мужем Позднышевой, ни о барынѣ, которую избѣла чахотка в «Трех смертях»... Естественнытатель сдѣлал свое дѣло. Философ прошел мимо». Читаешь — и глазам не вѣришь. Выходит, как будто так что Толстой должен был чуть не каждую смерть, написанную им сопровождать этическими обобщеніями, философіей, а он меж тѣм будто-бы даже *никогда* этого не дѣлал. Слишком

по разному читаем мы с Алдановым «Три смерти», «Холстомъра»...

Картины смертей в «Войнѣ и Мирѣ» открываются язычески величавой картиной смерти стараго графа Безухова, наивысшей разновидности «Холстомъров». Потом идет смерть «маленькой княгини». Это нѣчто несказанно прекрасное и трогательное, предѣл человеческой печали и нѣжности к безвинным жертвам смерти. Смерти этой предшествуют роды: вот они начались и длятся — зимній, бурный, темный вечер в снѣжных глухих полях, в старом полутемном домѣ усадьбы стараго князя Болконскаго, зажжены перед кютом, в помощь страждущей роженицѣ, обвитыя золотом вѣничальныя свѣчи, всюду тишина, ожиданіе — все «наготовѣ чего-то», у всѣх «какая-то общая забота, смягченность сердца и сознаніе чего-то великаго, непостижимаго, совершающагося в эту минуту... Прошел вечер, наступила ночь. Таинство торжественнѣйшее в мирѣ продолжало совершаться. И чувство ожиданія и смягченія сердечнаго перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал...» Говорят ли так «естествоиспытатели»? Если для Толстого рожденіе человѣка есть «таинство торжественнѣйшее в мирѣ», как может быть для него не таинством смерть человѣка, если только человѣкъ не умер еще при жизни, если только он не «ходячее тѣло», подобно Курагиным и Серпуховским? Дав земному міру новую человеческую жизнь, маленькая княгиня умерла.

— Князь Андрей вошел в комнату жены. Она мертвая лежала в том же положеніи, в котором он видѣл ее пять минут тому назад, и то же выраженіе, несмотря на остановившіеся глаза и на блѣдность щек, было на этом прелестном дѣтском личикѣ с губкой, покрытой черными волосиками.

«Я вас всѣх люблю и никому дурного не дѣлала, и что вы со мной сдѣлали?» говорило ея прелестное, жалкое, мертвое лицо.

— Через три дня отпѣвали маленькую княгиню, и, прощаясь, с нею, князь Андрей взшел на ступени гроба. И в гробу было то же лицо, хотя и с закрытыми глазами. «Ах, что вы со мной сдѣлали?» все говорило оно...

Дальше — знаменитое «небо над аустерлицким полем», первый этап «исхода» из земного міра князя Андрея, его «освобожденія».

— Князь Андрей не видал, чѣм это кончилось (рукопашная схватка русскаго артиллериста с двумя французами)... «Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются», подумал он и упал на спину... Пад ним не было ничего уже, кромѣ неба — высокаго неба, не яснаго, но все-таки неизмѣримо высокаго, с тихо ползущими по нем сѣрыми облаками. «Как тихо! спокойно и торжественно, совсѣм не так, как я бѣжал», подумал князь Андрей, «не так, как мы бѣжали, кричали и дрались... совсѣм не так ползут облака по этому высокому безконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокаго неба? И как я счастлив, что я узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кромѣ этого безконечнаго неба. Ничего, ничего нѣтъ, кромѣ него. Но и того даже нѣтъ, ничего нѣтъ, кромѣ тишины, успокоенія. И, слава Богу...

— На Праценской горѣ, на том самом мѣстѣ, гдѣ он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконскій, истекая кровью и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и дѣтским стоном.

К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что то боли в головѣ.

«Гдѣ оно, это высокое небо, которое я не знал до сих пор и увидал нынче?» было первою его мыслью. «И страданія этого я не знал также», подумал он. «Да, я ничего, ничего не знал до сих пор. Но гдѣ я?»

Он стал прислушиваться и услышал звуки приближающагося топота лошадей и звуки голосов, говоривших

по французски... Подвѣхавшіе верховые были Наполеон, сопровождаемый двумя адъютантами...

— *Voilà une belle mort*, — сказал Наполеон, глядя на Болконскаго.

Князь Андрей понял, что это было сказано о нем и что говорит это Наполеон... Но он слышал эти слова как-бы он слышал жужжаніе мухи... Ему жгло голову, он чувствовал, что он исходит кровью, и он видѣл над собою далекое, высокое и вѣчное небо. Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человѣком в сравненіи с тѣм, что происходило теперь между его душой и этим высоким, безконечным небом с бѣгущими по нем облаками... он рад был только тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасной, потому что он так иначе понимал ее теперь...

— Солдаты, принесшіе князя Андрея и снявшіе с него попавшіяся им золотой образок, навѣшенный на брата княжнѣ Марьѣй, увидав ласковость, с которую обращался император с плѣнными, посигъшили возвратить образок. Князь Андрей не видал, кто надѣл его опять, но на груди его сверх мундира вдруг очутился образок на мелкой золотой цѣпочкѣ.

«Хорошо бы это было», подумал князь Андрей, взглянув на этот образок, который с таким чувством и благоговѣніем навѣсила на него сестра, «хорошо бы это было, ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется княжнѣ Марьѣ. Как хорошо бы было знать, гдѣ искать помощи в этой жизни и чего ждать послѣ нея, там, за гробом! Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: Господи, помилуй меня! Но кому я скажу это! Или сила — неопредѣленная, непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами, — великое все или ничего».

говорил он сам себѣ, «или это тот Бог, который вот здѣсь зашитъ в этой ладонкѣ княжной Марьей? Ничего, ничего нѣтъ вѣрнаго, кромѣ ничтожества всего того, что мнѣ понятно, и величія чего-то непонятнаго, но важнѣйшаго!»

— Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожествѣ величія, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значенія, и о еще большем ничтожествѣ смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих.

То, как он написал второе и послѣднее «освобожденіе» князя Андрея, важно для пониманія его в высшей степени.

— Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытал сознаніе отчужденности от всего земного и радостной и страшной легкости бытія. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. *То грозное, вѣчное, невѣдомое и далекое, присутствіе котораго он не переставал ощущать в продолженіи всей своей жизни*, теперь для него было близкое и — по той странной легкости бытія, которую он испытал — почти понятное и ощущаемое...

Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это странно-мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.

Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертѣлась перед ним (на Аустерлицком полѣ), и он смотрѣлъ на живые, на кусты, на небо, и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся послѣ раны и в душѣ его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшаго его гнета жизни, распустился этот цвѣток любви вѣчной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней.

Чѣмъ больше онъ в тѣ часы страдальческаго уединенія и полубреда, которые онъ провелъ послѣ своей рапы, вдумывался в новое, открытое ему начало вѣчной любви, тѣмъ болѣе онъ, самъ не чувствуя того, отрекался отъ земной жизни. Все, всехъ любить, всегда жертвовать собою для любви значило — никого не любить, значило — не жить этой земной жизнью. И чѣмъ больше онъ проникался этимъ началомъ любви, тѣмъ больше онъ отрекался отъ жизни и тѣмъ совершеннѣе уничтожалъ ту страшную преграду, которая (безъ любви) стоитъ между жизнью и смертью.

По послѣ той ночи в Мытицахъ, когда в полубреду передъ нимъ явилась та, которую онъ желалъ, и когда онъ, прижавъ къ своимъ губамъ ея руку, заплакалъ тихими, радостными слезами, любовь къ одной женщинѣ незамѣтно закралась в его сердце и опять привязала его къ жизни. И радостныя, и тревожныя мысли стали приходиться ему.

Болѣзнь его шла своимъ физическимъ порядкомъ, но то, что Наташа называла: *это сдѣлалось с нимъ\**), случилось с нимъ два дня передъ прїѣздомъ княжны Марьи. Эта была та послѣдняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала побѣду. Это было неожиданное сознаніе того, что онъ еще дорожилъ жизнью, представлявшеюся ему в любви къ Наташѣ, и послѣдній, покоренный припадокъ ужаса передъ невѣдомымъ.

Это было вечеромъ. Онъ былъ, какъ обыкновенно послѣ обѣда, в легкомъ лихорадочномъ состояніи, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидѣла у стола. Онъ задремал. Вдругъ ощущеніе счастья охватило его.

«А, это она вошла!» подумалъ онъ.

Дѣйствительно, на мѣстѣ Сони сидѣла только что неслышными шагами вошедшая Наташа.

С тѣхъ поръ, какъ она стала ходить за нимъ, онъ всегда испытывалъ это физическое ощущеніе ея близости. Она

---

\*) Курсивъ Толстого.

сидѣла на креслѣ боком к нему, заслоняя собой от него свѣтъ свѣчи, и вязала чулок.

«Могло или не могло быть?» думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. «Неужели только затѣм так странно свела меня с нею судьба, чтобы мнѣ умереть? Неужели мнѣ открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мѣрѣ. Но что же дѣлать мнѣ, ежели я люблю ее?» сказал он, и он вдруг невольно застоналъ по привычкѣ, которую он приобрѣлъ во время своих страданій.

Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, замѣтив его свѣтящіяся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.

— Вы не спите?

— Нѣтъ, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли... Никто, как вы, не дает мнѣ той мягкой тишины... того свѣта. Мнѣ так и хочется плакать от радости.

Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ея сіяло восторженною радостью.

— Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свѣтѣ.

— А я? — она отвернулась на мгновеніе. — Отчего же слишком? — сказала она.

— Отчего слишком? Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душѣ, буду я жив? Как вам кажется?

— Я увѣрена, я увѣрена! — почти вскрикнула Наташа, страстным движеніем взявъ его за обѣ руки.

Он помолчал.

— Как бы хорошо! — И, взявъ ея руку, он поцѣловал ее.

... Скоро послѣ этого он закрылъ глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся.

Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время, — о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

«Любовь? Что такое любовь?» думал он.

«Любовь не понимает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Бог, и умереть — значит мнѣ, частицѣ любви, вернуться к общему и вѣчному источнику.» Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне-личное, умственное — не было очевидности. И было то же безпокойство и неясность. Он заснул.

Он видѣлъ во снѣ, что он лежит в той же комнатѣ, в которой лежал в дѣйствительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними спорит о чем-то ненужном. Они собираются ѣхать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другія важнѣйшія заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какія-то пустыя, остроумныя слова. Понемногу, незамѣтно все эти лица начинают исчезать, и все замѣняется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успѣет или не успѣет запереть ее, зависит все. Он идет, спѣшит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успѣет запереть дверь, но все-таки болѣзненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит *она*.\*) Но в то же время, как он бесильно-неловко подползает к двери, это что-то ужасное с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то нечеловѣческое — смерть — ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает

\*) Курсив Толстого.

последнія усилия — запретъ уже нельзя — хотъ удержать ее; но силы его слабы, пеловки, и надавливаемая ужасным усилиемъ дверь открывается и опять затворяется.

Еще раз *оно* надавило оттуда. Последнія сверхъестественныя усилия тщетны, и обѣ половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер.

Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сдѣлав над собой усилие, проснулся.

«Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробужденіе», вдруг просвѣтлѣло в его душѣ, и завѣса, скрывавшая до сих пор невѣдомое, была приподнята перед его душевнымъ взором. Он почувствовал как бы *освобожденіе прежде связанной в нем силы* и ту странную легкость, которая с тѣх пор не оставляла его.

Когда он, очнувшись в холодном поту, зашевелился на диванѣ, Наташа подошла к нему и спросила, что с ним. Он не отвѣтил ей и, не понимая ее, посмотрѣлъ на нее страннымъ взглядом.

Это и было то, что случилось с ним за два дня до пріѣзда княжны Марьи...

*С этого началось для князя Андрея вмѣстѣ с пробужденіем от сна пробужденіе от жизни...*

Княжна Марья и Наташа обѣ видѣли, как он глубже и глубже, медленно и спокойно опускался от них куда-то туда, и обѣ знали, что это так должно быть и что это хорошо.

Его исповѣдовали, причастили; всѣ приходили к нему прощаться. Когда ему привели сына, он приложил к нему свои губы и отвернулся не потому, чтобы ему было тяжело и жалко, но только потому, что он полагал, что это все, что от него требовали; но когда ему сказали, чтобы он благословил его, он исполнилъ требуемое и оглянулся, как будто спрашивая, не нужно ли еще что-нибудь сдѣлать. Когда происходили последнія содроганія

тѣла, оставляемого духом, княжна Марья и Паташа были тут.

— Кончилось?! — сказала княжна Марья, послѣ того, как тѣло его уже нѣсколько минут неподвижно, холодѣя, лежало перед ними. Паташа подошла, взглянула в мертвые глаза и поспѣшила закрыть их. Она закрыла их и не поцѣловала их, а приложила к тому, что было ближайшим воспоминаніем о нем...

---

Написавшій эту смерть записал однажды в своем дневникѣ такія слова:

— На меня смерть близких никогда не дѣйствует очень больно.

Это было записано уже в старости, послѣ многих смертей близких. Не поэтому-ли и записано так, — «не дѣйствует очень больно», — не от притупленія-ли чувств, не от привычки-ли к боли всяких жизненных потерь? Но он выражался всегда очень обдуманно, очень точно, он не написал-бы даром слово «никогда». Как же объяснить, что смерть близких никогда не дѣйствовала на него очень больно? Извѣстно, какой душевный хлад и ужас испытывал он, теряя сперва одного брата, потом другого, что чувствовал Левин, когда умирал его брат Николай: его в эти дни спасала только Кити, только ощущение близости с ея молодой жизнью и любовью и его собственная любовь к ней. И вот все таки он говорит, что терять близких было ему «не очень больно». И это «не очень больно» кажется на первый взгляд странно. «Я всегда как-то физически чувствую людей», говорил он про себя (давая этим прекрасный повод к сугубой убѣжденности тупых людей в их миѣніи, что ему достуина была только «плоть міра»). Но и *все* чувствовал он «физически», то есть всѣм своим существом, с необыкновенной и крайне сложной, разнообразѣйшей остротой. А чувствованіе смерти, всего ея тѣлеснаго и

духовнаго процесса было в нем обострено особенно, — это закон: «степень чувства жизни пропорціонально степени чувства смерти», — и никогда не оставляло его. Как же в таком случаѣ «не очень больно» было ему возлѣ умиравших близких? А меж тѣм так именно, — или, вѣрнѣе, почти так, — и было: *почти так*, ибо кто же обладал такой мѣрой способности входить в душу и тѣло другого, как он, а значит и болѣть всѣми болями умирающаго близкаго; был он, кромѣ того, чрезвычайно жалостлив, «чувствителен», опять употребляя его же выраженіе. Но все равно: все таки было «не очень больно». И тут всего удивительнѣе, как «не очень больно» пере-нес он смерть своего любимаго сына, маленькаго Ванички, потом самой любимой дочери Машки.

В воспоминаніях Александры Львовны сказано:

— Мама угасала. Я вспомнила Ваничку, на котораго она теперь была особенно похожа... Тихо, беззвучно входил отец, брал ея руку, цѣловал в лоб... Когда она кончалась, всѣ вошли в комнату. Отец сѣл у кровати и взял Машу за руку...

При выносѣ тѣла из дома, он проводил гроб только до ворот — и пошел назад, в дом...

Об этом удивительно рассказал Илья Львович:

— Когда понесли гроб в церковь, он одѣлся и пошел провожать. У каменных столбов он остановил нас, простился с покойницей и пошел по пришептку домой. Он шел по тающему мокрому снѣгу частой старческой походкой, как всегда, рѣзко выворачивая носки ног, и ни разу не оглянулся...

«Не очень больно!» И все таки он сказал про себя правду.

В 1903 г. он писал в своем дневникѣ:

— Страданія, — всегда неизбежныя, как смерть, — разрушают границы, стѣсняющія наш дух и возвращают нас. — уничтожая сболъщенія матеріальности, — к свой-

ственному человеку пониманию своей жизни как существа духовного, а не материального...

Писал и говорил то же самое не один раз и раньше и позже:

— Думают, что болѣзнь — пропащее время. Говорят: «вот выздоровлю — и тогда...» А болѣзнь самое важное время...

Вспоминая самые трудные часы своих собственных тяжелых болѣзней, умилялся:

— Эти дорогія мнѣ минуты умиранія!

И про дочь Машу писал так:

— 26 ноября 1906 г. Сейчас час ночи. Скончалась Маша. Странное дѣло, я не испытывал ни ужаса, ни страха, ни сознанія совершившагося чего-то исключительного, ни даже жалости, горя. Я как будто считал нужным вызвать в себѣ особенное чувство умиленія, горя и вызвал его, но в глубинѣ души я был покоен... Да, это событіе в области тѣлесной, и потому безразличное. Смотрѣл я все время на нес, когда она умирала, удивительно спокойно. Для меня она была раскрывающееся перед моим раскрываніем существом. Я слѣдил за его раскрываніем, и оно радостно было мнѣ. Но вот раскрываніе это в доступной мнѣ области прекратилось, то есть мнѣ перестало быть видно это раскрываніе; но то, что раскрывалось, то есть. Гдѣ? Когда? Это вопросы, относящіеся к процессу раскрыванія *здѣсь* и не могущіе быть отнесены к истинной — *въпространственной и въвременной* — жизни...

И въслѣдствіи, вспоминая ее:

— Живу и часто вспоминаю послѣднія минуты Маши (не хочется называть ее Машей, так не идет это простое имя к тому существу, которое ушло от меня). Она сидит обложенная подушками, я держу ее худую и милую руку и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа одно из самых важных, значительных времен моей жизни...

Алданов начинает свою книгу о Толстом известной цитатой из Канта: «двѣ вещи наполняют мой дух вѣчно новым и все большим благоговѣніем — звѣздное небо надо мной, нравственный закон во мнѣ» и говорит, что если раздѣлить эту формулу, выражающую идею совершеннаго, гармоническаго человѣка, на двѣ части, то нужно будет отнести первую часть к язычнику Гете, а вторую к христіанину Толстому. Для Толстого-мыслителя, говорит Алданов, существует только «нравственный закон: это «das ewig Eine», которому всю жизнь «удивлялся» Гете, это «звѣздное небо» Канта, в толстовствѣ не имѣет мѣста. Утвержденіе удивительное!

Чѣм доказывает Алданов это свое утвержденіе? «Толстой говорит о наукѣ не как философ, а как полемист... Для Толстого «туманныя пятна», «спектральный анализ звѣзд», «химическій состав Млечнаго Пути» — никому ненужный профессорскій вздор, равно как вздор и вся «научная наука», как он выражался, противопоставляя такой наукѣ науку «только дѣйствительно нужную людям», практическую, улучшающую жизнь людей. Но вѣдь «звѣздное небо» могло возбуждать в Толстом и другія мысли и чувства, ничуть не связанныя с его презрѣніем к профессорам, занятым изученіем химическаго состава Млечнаго Пути. И сам Алданов подтверждает это тѣм, что говорит далѣе. Он приводит одну из причин вражды Толстого к «научной наукѣ»: «Выдумали, цитирует он Толстого, приборы для акциза, для нужников, а прялка, ткацкій бабій станок, соха все такіе же, как были при Рюрикѣ.» Но сам же спрашивает далѣе: «тут-ли однако надо искать настоящую причину антипатіи Толстого к наукѣ?» — и отвѣчает: Толстой приписал себѣ однажды в молодости невѣжество, мог-бы повторить эти слова и в старости, а меж тѣм он «был одним из наиболѣе разносторонне ученых людей

нашего времени, только его универсально-анархический ум так же мало признавал суверенитет науки, как суверенитет государственной власти.» Почему же не признавал? Тут Алданов сам же говорит, что потому, «что для преодоления науки Толстой рѣшился привлечь на помощь «точку зрѣнія вѣчности», взглянул на нее *sub specie aeterni*. «Вы изобрѣли противодифтеритную сыворотку, вылечили ребенка? — говорил Толстой. — Ну, а дальше что?» Он обращался когда-то к Мопассану с вопросом: «зачѣм все это?» — разумѣя под «всѣм этим» красоту и любовь в пониманіи французскаго писателя, и отвѣчал: «Вѣдь это хорошо было-бы, если-бы можно было остановить жизнь. А она идет. А что такое значит: идет жизнь? Идет жизнь — значит: волосы падают, сѣдѣют, зубы портятся, запах изо рта, морщины... Гдѣ-же то, чему я служил? Гдѣ же красота? А она — все. А нѣтъ ея — ничего нѣтъ», — говорил Толстой, становясь на точку зрѣнія Мопассанов. — «Нѣтъ жизни. Но мало того, что нѣтъ жизни в том, в чем казалась жизнь, сам начинаешь уходить из нея, сам старѣешь, дурѣешь, разлагасяешься, другіе на твоих глазах выхватывают у тебя тѣ наслажденія, в которых было все благо жизни.» Как же связать с выпиской Алдановым такой цитаты из Толстого его, Алданова, замѣчаніе, что «Толстой говорит о наукѣ не как философ, а как полемист»? И что же такое «точка зрѣнія вѣчности», как не «звѣздное небо надо мною»? Выписав слова Толстого, обращенныя к Мопассану, Алданов пишет: «О том, в чем видѣл Мопассан наслажденія, Толстой говорит со скорбным презрѣніем состарившагося Эллина.» И дальше: «С точки зрѣнія вѣчности отнюдь не болѣе прочно все, что противопоставлено наукѣ. Гдѣ дует вѣтер вѣчности, там любое человѣческое построеніе разсыпается, как карточный дом, и само толстовство в первую очередь.» Алданов цитирует знаменитыя слова: «*Le silence éternel de ces*

*espaces infinis m'effraye.*» По «*ces espaces infinis*» вѣдь и есть «звѣздное небо». И, конечно, перед ними «разсыпается всякое человѣческое построение». Только почему «и само толстовство» да еще «в первую очередь»? Толстой от ужаса перед «*ces espaces infinis*» все таки спасся. Чѣм? Тѣм, чѣм «состарившійся эллипс» не спасся бы. В том-то и дѣло, что Толстой никогда не был «эллином».

Алданов вспоминает слова Байрона, что «мысль есть ржавчина жизни», что «разсужденіе противно природѣ человѣка, что «разсужденіе — демон», и говорит, что в эпоху созданія «Войны и мира» Толстой был не далек от Байроновскаго воззрѣнія, бессознательно, может быть, слѣдовал инстинкту самосохраненія, смутно предвидѣл, куда, к каким жертвам приведет его «демон» Байрона. Алданов отмѣчает противоположность двух семей — семьи Болконских и семьи Ростовых (иначе говоря, семьи матери Толстого и семьи его отца — Волконских и Толстых): в первой всегда у всѣх идет напряженная духовная работа, мысль, «разсужденіе», а во второй никогда и никто не мыслит; и что же? всѣ Болконскіе несчастны, а всѣ Ростовы блаженствуют. По мнѣнію Алданова, Толстой и сам прекрасно знал это, и Алданов видит одно из значеній «Войны и мира» в том, что в ней — борьба Толстого против Байроновскаго демона и за себя, как наслѣдника Волконских, и вообще за всѣх, этому демону преданных: — «Ах, душа моя, говорит князь Андрей Пьеру наканунѣ рокового для него дня Бородинской битвы, послѣднее время мнѣ стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человѣку вкушать от древа познанія добра и зла.» Но не вкушать ни князь Андрей ни сам Толстой не могли. А это и вело их и привело (обоих) к «звѣздному небу», ко взгляду на мір и на жизнь *sub specia aeterni*.

Князь Андрей спрашивал:

— Чего ждать там, за гробом?

Толстой отвѣчал за него:

— Возвращенія к Любви.

Алданов, вспоминая этот вопрос и этот отвѣт, говорит:

— Одна из самых странных фантазій Гойа изображает судорожно искривленную руку, протянутую из-под камня пустынной могилы, отчаянно цѣпляющуюся за что-то — за пустоту; подпись под этой картиной: nada (ничто). Подпись, сдѣланная Толстым, — «возвращеніе к Любви», — много-ли она лучше, чѣм nada? Может быть, «через 200-300 лѣтъ», как говорит Вершинин у Чехова, наступит черед «толстовства». А дальше?

А дальше все равно все пожрет смерть, отвѣчает сам себѣ Алданов.

Но как он понимает «толстовство»? Маклаков сказал: «Бог был для Толстого только непонятная начальная сила; бессмертіе духа — простое признаніе факта, что наша духовная жизнь откуда-то явилась и, слѣдовательно, куда то уйдет; но вѣдь вѣра есть не столько знаніе истины, сколько преданность ей, и Толстой сам любил повторять эти слова Ивана Кирѣевского... Толстой пошел против Церкви, отвергнув религіозное міровоззрѣніе, и пошел против міра, отвергнув взгляды міра на жизнь...» — Так, очевидно, думает и Алданов. И что-же тогда оставляют они с Маклаковым Толстому? Отверг міровоззрѣніе и мірское и религіозное? Но зачѣм-же отвергать мірское міровоззрѣніе, если отвергнуто религіозное? «Толстой повторял слова Кирѣевского...» Пусть повторял: духовно жил он все таки в полной противоположности этим словам — «преданностью», а не «знаніем», о чем сказал еще в «Исповѣди». — Nada! Для ума — может быть. Но люди находят спасеніе от смерти чувством.

«Никто-же да убоится смерти: свободи нас Спасова смерть... Вѣрующій во Христа имать живот вѣчный... Смерть празднуем умерщвленіе, инаго житія вѣчнаго начало...»

Так поет Церковь, отвергнутая Толстым. Но «пѣснопѣный» вѣры он не отвергал. Что «свободило» его? Пусть не «Спасова смерть». Все же «праздновал» он «смерти умерщвленіе», — чувство «инаго житія вѣчнаго» обрѣл. А вѣдь все — в чувствѣ. Не чувствую этого «ничто», nada — и спасен.

ИВ. БУНИН.